

О. В. Бригадина

ПАРАДИГМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ В РАННЕЙ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ (1917 — начало 1920-х гг.): ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Справедливо отмечено, что идеи правят миром. Но также верно, что очень часто, как показывает история, в действительности выходит совсем не то, что предполагалось. «Надо вслушиваться и понимать “язык”, на котором говорит “эпоха”», — считает историк А. К. Соколов [1, с. 13]. Способность вжиться в эпоху, посмотреть на события глазами людей конкретного исторического времени может помочь история повседневности.

Изучение обыденной жизни и рост внимания к «маленькому человеку» характерны сегодня для всей мировой историографии. Это и свидетельство гуманизации социального знания, и показатель исследовательского прогресса в этой области. Историко-антропологический поворот в научной мысли Запада положил начало формированию так называемых «новых историй», направленных на исследование «каждодневных основ человеческого существования». Попытки преодоления одного из заметных изъянов советской историографии — обезличенности исторического процесса — характерны для исследовательских проектов российских историков Н. Л. Пушкаревой, С. В. Журавлева, Н. Б. Лебиной, М. М. Крома и др. [2—5]. По мнению Л. П. Репиной, «в результате кризиса исторической науки на рубеже 1980—1990 гг. наиболее существенный для будущего историографии момент заключался в смещении исследовательского интереса от общности и социальных групп к историческим индивидам, их составляющим» [6, с. 245]. В этой связи инициатива германских историков по созданию истории повседневности представляется актуальной и многообещающей [7—8].

«История повседневности, — убежден академик Ю. А. Поляков, — это океан безбрежный. <...> Проблемы истории человеческого бытия бесчисленны и многообразны, как неизмеримы и многообразны проявления самой жизни» [9, с. 305]. Новые исследования в контексте повседневной истории сопряжены с проблемами методологического характера, методикой научного поиска, структуризацией предмета изучения, терминологической дискуссией.

Дефиниция «повседневность» имеет в историографии разные толкования. А. С. Ахиезер понимает под этим человеческую жизнь, рассмотренную с точки зрения функций и ценностей, которые ее заполняют: труд, быт, отдых, передвижение [10, с. 396]. С. В. Журавлев рассматривает повседневность как соотношение воли власти и поступков рядового человека [3, с. 6]. Для Н. Л. Пушкаревой — это постоянное повторение «нормального и привычного, конструирующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные реакции на жизненные события и мотивы поведения» [2, с. 9]. Н. Б. Лебина считает повседневным весь комплекс «нормативного и ненормативного в бытовой культуре». В работе «Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920—1930 гг.» автор на основе парадигмы «добро — зло» анализирует образ жизни городского населения, основными составляющими которого являлись новый быт, досуг, дом, частная жизнь, а также различные проявления девиантного поведения [4, с. 5—7]. «Пространством индивидуального выбора» определяет повседневность М. В. Богословская [11, с. 444]. Американский историк Ш. Фицпатрик под повседневностью понимает «пути и способы, с помощью которых советские граждане пытались вести обычную жизнь в необычных условиях» [12, с. 7].

Бригадина Ольга Васильевна — доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук

Существует множество подходов в структуризации повседневности. Некоторые исследователи предлагают обратить внимание главным образом на сферу частной жизни (семья, домашний быт, воспитание детей, досуг, круг общения), другие в первую очередь рассматривают модели поведения и отношения, которые возникают на рабочем месте, в трудовых коллективах. Для многих в изучении советской истории наиболее важным представляется анализ форм пассивного или открытого сопротивления власти: повседневное сопротивление «вездесущему государству» (Ш. Фицпатрик). В ряде работ акцентируется внимание на событиях, при анализе которого можно выявить нечто решающее для конкретного человека в конкретное время. И событие разделяют на три сферы: «кардинальные антропологические факторы» (рождение, болезнь, смерть); основы жизнедеятельности (питание, жилье, одежда, работа); способы выживания в экстремальных условиях войны, кризиса, в «ситуации терпения, голодания, страдания, страха и отчаяния» [13, с. 9].

Заслуживает, на наш взгляд, точка зрения И. В. Нарского, который предлагает исследовать историю повседневности в контексте социальной истории. Изучение социальных структур во взаимодействии с восприятиями современников предполагает, по мнению историка, совместимость описания с высоким уровнем теоретичности. «Сама повседневность рассматривается в таком случае как место пересечения «объективного» и «субъективного», на которое решающее влияние все же оказывали и оказывают материальные условия и их изменения» [14, с. 22]. Реконструкция исторического опыта и образа жизни людей предполагает, таким образом, анализ «базовых потребностей человека» в историко-культурных, политико-событийных, этнических, конфессиональных и иных контекстах; путей приспособления («стратегии выживания и продвижения») к событиям внешнего мира; поведения и отношений в процессе трудовой деятельности.

В воспроизведении всего многообразия личного опыта и форм поведения людей особенно важен выход на междисциплинарный уровень. Синтез наук дает возможность комплексного изучения истории повседневности. Этнология, изучая материальные параметры жизни, задает определенную «матрицу» для исследования жизненного пространства человека. Социология определяет степень типичности ситуации. Социальная психология позволяет выйти на анализ ментальных представлений и общественного сознания. Значительную роль в реконструкции повседневных практик играют культурология, историческая демография, лингвистика, статистика и другие науки. В свою очередь, история повседневности является одним из важных направлений более общей «новой социальной истории», для которой характерен перенос акцента исследований государственных институтов, экономических структур, больших общностей на изучение микромиров.

О перспективах микроисторического подхода свидетельствуют результаты научных исследований немецких ученых (Х. Медика, А. Людтке), ряда исследователей в Италии (К. Гинзбурга, Д. Леви), представителей «новой культурной истории» в США и третьего поколения школы Анналов. Микроанализ как метод решения научных гипотез получил свое развитие и среди русскоязычных историков [15—16]. Как отметила Н. Л. Пушкарева, микроисторический подход позволил реконструировать множество частных жизней «незамечательных» людей; оказался эффективен в изучении причин «несостоявшихся возможностей и случайных обстоятельств состоявшегося исторического выбора» [17, с. 9]. Существуют и скептические взгляды на способность микроанализа «объять необъятное», соединить в единое целое кратковременные и долговременные исторические циклы. Сторонники «тоталитарной концепции» советской истории предупреждают об опасности превращения исторического процесса в «лоскутную композицию вроде рукодельных цветных ковриков — пэчвоков» [18, с. 327].

Дискуссионными на сегодняшний день являются и вопросы выбора и использования исторических источников, которых «необыкновенное разнообразие, пестрота и колоссальное богатство» [16, с. 302]. Требуют иных способов изучения и «расшифровки» опубликован-

ные сборники официальных документов, материалы делопроизводства, статистические отчеты, периодическая печать и т. д. Как свидетельствует И. В. Нарский, его знакомство с местными газетами, официальной документацией и материалами личного происхождения ошеломляет необозримым объемом разнообразной и по большей части не введенной в научный оборот информации о повседневной жизни населения: в служебные записки, доклады, обзоры и сводки «врываюся, в качестве иллюстраций, уникальные фрагменты писем и жалоб населения» [14, с. 27—28]. Информативным источником для изучения истории повседневности являются свидетельства (мемуары, дневники, письма) современников эпохи [19—24]. Информацию о настроениях и поведении людей можно извлечь из опубликованных в последнее время сборников документов ВЧК-ОГПУ. Начиная с 1921 г., местные чрезвычайные органы обязаны были на основе недельных сводок из различных инстанций составлять аналитические обзоры массовых настроений населения [25—27]. Источниковая база повседневной истории советской России 1917 — начала 1920-х гг. может быть расширена за счет опубликованных документальных материалов по военной и политической цензуре, бюджетных обследований [28—30]. При этом принципиально важно, по мнению Н. Л. Пушкаревой, чтобы историк ставил задачу «не разглядывания мелочей, а рассмотрения в подробностях, ставил на первое место не само описание предмета или события, но отношение к нему людей» [17, с. 15].

Последнее десятилетие предопределило растущий интерес исследователей к повседневной жизни населения России в условиях двух революций 1917 г., Гражданской войны и «военного коммунизма». Разумеется, за точку отсчета чаще всего берется 1917 г. «Никогда еще в истории, — писала петербургская газета «Новая жизнь», — не наблюдалось такого разительного контраста между тем, что люди делают, и тем, что они думают о своих делах, никогда еще идеология не отрывалась в своих радужных грезах так решительно от материального базиса» [31, с. 337]. Был прерван привычный ритм жизни, упразднены все прежние организации и учреждения, все гражданские чины, звания и титулы.

Революционные изменения сказывались на социальной структуре населения России. Эти вопросы являются наименее изученными и чрезвычайно упрощаются, сводятся либо к соотношению численности городского и сельского населения, либо к элементарным классовым схемам [1, с. 26]. Ряд исследователей — В. З. Дробижев, Ю. А. Поляков, В. М. Селунская, И. О. Шкаратан — отмечали, что за 1917—1920 гг. социальная структура претерпела коренные изменения [32—34]. По мнению А. Н. Федорова, наибольшую популярность получает гибридная схема, которая лучше соотносится с историческим материалом. Выделяются пять социальных страт в российском обществе, которые различаются по объему прав, привилегий и обязанностей: номенклатура, квазипривилегированный класс в лице рабочих, специалисты и служащие, крестьянство, дискриминированные категории [35, с. 555].

Анализ основополагающих принципов, на которых формировался советский уклад жизни, предпринял в своем исследовании Б. Н. Миронов. Он выделил: «приоритет государства над обществом, приоритет коллектива над личностью, ограничение свободы личности, централизация, планирование и эксплуатация народного энтузиазма»; одновременно подчеркнув, что «реализация советской модели создала новую асимметрию между личностью, семьей, обществом и государством» [36, с. 334].

Плодотворную попытку анализа стратегии выживания населения в нестабильное время предпринял И. В. Нарский. Центральной темой его исследования стала реконструкция поведения населения в «экстремальных условиях гуманитарной катастрофы». Для достижения поставленной цели историк на основе широкого круга источников попытался ответить на ряд вопросов: каковы масштабы катастрофы в регионе; как выглядели события 1917—1922 гг., с точки зрения рядового человека; как население осмысливало и перерабатывало пережитое и как оно реагировало на происходящее. Историк приходит к выводу, что «население не явля-

лось статистом и наблюдателем великой драмы, а усиленно вырабатывало технику, методы и формы <...> приспособления к резко и постоянно меняющимся условиям жизни. <...> Техника выживания была чрезвычайно многообразна — от вступления в партийные ряды и устройства в государственные организации, включая армию, ведущую боевые действия, до массовых форм вооруженного сопротивления и индивидуальной уголовно наказуемой деятельности» [14, с. 24—25]. Выработанная система ценностей, способы приспособления и новые стандарты оказали существенное влияние на дальнейшую советскую действительность. «Вживание в катастрофу превращалось в перманентный процесс, — констатировал И. В. Нарский, — а желание выжить — в ключевой момент действительности» [14, с. 561].

На процессы трансформации личности обращали внимание многие представители интеллектуальной элиты дореволюционного российского общества. Н. А. Бердяев в статье «Новое Средневековье» отмечал: «В русской революции победил новый антропологический тип. Произошел подбор биологически сильнейших, и они выдвинулись в первые ряды жизни. Появился молодой человек в френче, гладко выбритый, военного типа, очень энергичный, дельный, одержимый волей к власти. <...> В России, в русском народе что-то до неузнаваемости изменилось. <...> Таких лиц прежде не было в России» [37, с. 14—15]. Оценки П. А. Сорокина были еще более резкими: «биологизация», «криминализация» и «культурная деградация» тех, кто остался в России [14, с. 560].

О влиянии экстремальных условий революции и Гражданской войны на условия существования, на сознание и поведение населения шла речь на Всероссийской научной конференции «Революция и человек. Быт, нравы, поведение, мораль», организованной Институтом российской истории РАН. В выступлениях В. П. Булдакова («От войны к революции: рождение человека с ружьем»), В. В. Канищева («Приспособление ради выживания. Мещанское бытие эпохи «военного коммунизма»), Л. А. Обухова («Изнанка сверхценностных установок: моральный облик большевиков в годы гражданской войны»), Т. В. Царевской («Преступление и наказание: парадоксы 20-х годов») были выявлены причинно-следственные связи между событиями 1917 — начала 1920-х гг. и культурно-ментальными сдвигами в массовом сознании российского населения [38].

Вопрос о содержании понятий «масса» и «массовые настроения» является дискуссионным. обстоятельный анализ массы как временного единства толпы дал в своей книге «Психология толпы» основатель социальной психологии Г. Лебон, предсказавший сто лет назад, что «новым обществам при своей организации <...> придется считаться с новой силой — могуществом масс» [39, с. 149]. Феномен толпы и влияние массовых настроений на поведение людей получил свое развитие и в современной российской научной литературе [40—44].

Первая мировая война до предела обострила противоречия. Поведение людей становилось все более агрессивным. Это успешно использовали большевики, призывали крестьян и рабочих «грабить награбленное», разжигая тем самым гражданскую войну в стране [45, с. 513]. После «черного передела» крестьянская масса с явным неодобрением наблюдала за дальнейшими экспериментами власти на селе. Отношение крестьян к государству было связано со старой традицией, которую историк В. Вейдле охарактеризовал так: «На западе общество пыталось овладеть государством, в России, — наоборот, бежать от него» [46, с. 82].

О влиянии революции на человека написано немало. Социокультурную трактовку революции 1917 г. и начального периода советской истории предложил В. П. Булдаков, поставив цель восстановления «психосоциальной ткани революции». Было отмечено, что любое теоретизирование по поводу природы революционаризма остается спекулятивным без дешифровки его культурно-антропологического кода. «Эпидемия социального умопомешательства» привела к архаизации общества, «разрухе в умах» и взрыву массового насилия [47, с. 8—24]. Для В. П. Булдакова очевидно, что лишь профессиональный научный анализ явлений на «молекулярном уровне личности» дает право на выявление общих закономерностей россий-

ских кризисов XX в. Главным взрывным механизмом революций он считает противоречие «рукотворного мира с человеческим естеством» [47, с. 89]. Человек отвечал на вызовы изменившегося мира активизацией своей деятельности на основе древнейших императивов («для достижения цели все средства хороши»). Это психосоциальное возбуждение приобретало форму насилия, привело к анархии и потере всех «сдерживающих начал» [48, с. 556]. Уместно вспомнить определение русского национального характера, высказанное еще в XIX в. маркизом де Кюстином: «Нигде, кроме России, не мог возникнуть подобный государственный строй, но и русский народ не стал бы таким, каков он есть, если бы он жил при ином государственном строе. <...> Все здесь созвучно — народ и власть. <...> Вообразите полудикий народ, которого милитаризовали и вымуштровали, но не цивилизовали. <...>» [49, с. 123, 126].

Вопросы нормы и девиации заняли заметное место в историографии повседневной жизни первых лет Советской власти. Общество выстраивало систему оценки поведения, определяя одни его стереотипы как норму (конформное поведение), другие — как девиацию (отклоняющееся поведение), третьи — как преступление (уголовно наказуемое поведение). Характер соотношения нормы и девиации был связан, прежде всего, с изменением ценностных ориентиров общества, а также с усилиями власти по закреплению определенных желательных моделей — стандартов. Как заметил А. Н. Медушевский, «в условиях большевистской революции девиация сама стала нормой поведения, привела к превращению подпольной субкультуры революционной организации в официальное право и установлению доминирования неформальных криминальных норм над формальными правовыми» [50, с. 15—16]. Многие исследователи видят причины отклонения от норм в общих условиях жизни в нестабильное время. Годы «пьяной революции» (Н. И. Нарский) — это время масштабного социального разложения общества, вызванного последствиями двух революций, мировой и Гражданской войнами. Человек утрачивал нормативные идеалы, а девиантное поведение превращалось в «способ, стратегию выживания слабейших». О беспределе в городах свидетельствовали заголовки газетных статей за 1917 г.: «Разгром винных складов» («День», № 217); «Хроника ограблений» («Московский листок», № 268); «Вторая ночь пьяной оргии», «За революционный порядок», «Самосуд», «Беспощадная борьба с саботажниками» (все — «Новая жизнь», № 194), «Пьяные погромы» («Новая Петроградская Газета», № 3) и т. д. [51, с. 325—337].

Первыми начали исследовать причины и формы аномального поведения в революционной России Н. Б. Лебина, В. В. Канищев, В. П. Булдаков [52—53]. Первая монография Н. Б. Лебиной «Повседневная жизнь современного города: нормы и аномалии. 1920—1930 годы» (1999) оказалась в центре дискуссии российских историков. Было замечено, что постсоветская историческая литература грешит чрезмерным увлечением именно аномалиями, якобы заменившими собой социальные нормы, а «ученый рискует выступить в роли смакователя». А. С. Сенявский обратил внимание на методологическую некорректность сводить все многообразие городской жизни к патологическим или маргинальным проявлениям. И. В. Абдурахманова напоминала, что российская повседневность 1917 г., насыщенная социальными катаклизмами, была следствием не только революционного процесса, но и глубоких ментальных традиций. С. Иконников-Галицкий указал на «теоретическую предвзятость» выводов Н. Б. Лебиной [35, с. 565—566]. Несомненно одно: число исследователей ненормативного поведения людей в первое послереволюционное 10-летие достаточно велико [54—59].

Причины и масштабы служебных преступлений исследованы в монографиях Б. В. Волженкина и А. Колпаниди, публикациях Г. А. Маркосяна [60—62]. В начале 1920-х гг. в стране развернулась активная борьба со спекуляцией и взяточничеством. Советско-партийное руководство решило начать активную борьбу с коррупцией, пока она не затронула высшие звенья госаппарата. Важнейшими составляющими в борьбе с преступлениями и аномалиями в обществе стала практика «круговой поруки» и поощрение доносов [63]. Деятельность добровольных осведомителей регулировалась ведомственными инструкциями и стимулирова-

лась из специальных денежных фондов ВЧК — ОГПУ в размере 10 % от оценки конфискованного у осужденных за взяточничество имущества [64].

Реальность бытия формировала новый уклад жизни. Миллионы людей были вырваны из привычных условий существования. Романтика всеобщего преобразования, разрушение старого мира «до основания» многим вскружила голову. «Перековке» подлежало все: быт, язык, культура, личные отношения. Историография повседневной жизни пополнилась публикациями о роли женщин в быту и на производстве, о внутрисемейных отношениях, о проблемах материнства и детства. Странники гендерных исследований все активнее обращаются к анализу историко-демографических проблем, сути перемен в брачно-семейных отношениях [65]. О разрушении прежней системы отношений мужчины и женщины, причинах резкого роста разводов, незаконнорожденных детей и проституции в первые годы советской власти — публикации Н. Л. Пушкаревой и О. Е. Казьминой, Н. А. Араловец, Н. Б. Лебиной, М. Шкаровского, А. Маркова [66—68]. Авторы отмечают, что эксперименты в интимной сфере увлекали прежде всего молодежь, которая восприняла революцию как освобождение. В их системе представлений о новых формах человеческих отношений, основанных на коллективизме и общечеловечности, традиционный парный брак представлялся архаичным. Рождение детей не поощрялось обществом не только из-за экономических трудностей, но и потому, что сами взрослые рассматривались как своего рода дети, нуждавшиеся в перевоспитании. О теории евгеники — принципиально новом методе воспитания «правильных» детей — идет речь в статье С. М. Третьякова [69]. Как заметил А. Ю. Котылев, «дети воспринимались как “несовершенные взрослые”, как материал, из которого следовало “лепить” новых людей» [70, с. 73]. По мнению Б. Руденко, в советской России точно знали, «какое общество хотят создать, какие люди должны в нем существовать и кто, в первую очередь, может помешать строительству светлого будущего. А помешать прежде всего могли именно дети. Беспорядочные, которые со временем неизбежно должны были превратиться во взрослых, но совсем не обязательно в людей». В начале 1920-х гг. в помощи нуждались, по разным источникам, от 2 до 7 млн детей, потерявших родителей [71, с. 135]. На борьбу с беспорядочностью были брошены колоссальные силы и средства: об этом публикации А. Рожкова и С. Панина [72—73].

«Детскую тему» в историографии пополнила публикация сборника воспоминаний детей-эмигрантов первой послереволюционной волны. Во Франции в 1920-е гг. члены Педагогического бюро по делам молодежи, которое возглавлял профессор В. В. Зеньковский, организовали конкурс сочинений учащихся на тему «Что я помню о России». Детские сочинения — свидетельства детей и их родителей, «живших в катастрофе», это детские впечатления о повседневной жизни в годы революции и Гражданской войны; это подтверждение выводов многих исследователей истории российской эмиграции, что причиной массового исхода из России являлись не только идеологические разногласия с теорией и практикой большевизма, но и катастрофические условия жизни [74].

В современной историографии повседневной жизни «сложно структурированного, многогранного и крайне противоречивого» общества (С. В. Журавлев) привлекательным для историков стало изучение стиля жизни советской элиты. В условиях «военного коммунизма» и распределительной экономики рождалась новая каста людей. К 1922 г. число чиновников, называвшихся теперь «совслужащие», увеличилось по сравнению с 1917 г. с 1 до 2,5 млн человек. На руководящие посты чаще всего назначались не специалисты, а «сознательные большевики», прошедшие школу Гражданской войны и умеющие обеспечить повиновение [75, с. 13]. Следует признать, что история повседневной жизни номенклатуры ранее не рассматривалась в историографии, хотя исследований о «больших» людях существует немало [76—78]. В последние годы интерес у исследователей вызывают внутрисемейные отношения, организация отдыха, лечения, досуга, жилищно-бытовые условия «руководящего состава страны». Попытку выявить скрытые механизмы развития системы привилегий предприняла М. В. Бо-

гословская. На основе разнообразных источников, в том числе ранее засекреченных документов из архива РГАСПИ (личные фонды Ленина, Сталина, Молотова), исследованы сценарии решения жилищной проблемы. Как отмечает автор, в Москве началось строительство «правительственных домов», которые содержались за государственный счет. К услугам жильцов был обширный штат, закрытый спецраспределитель, гаражи и другие блага: «...все, включая прислугу, еду, покупку мебели и т. д. оплачивалось из неограниченных казенных средств» [79, с. 448]. Отличием жизни элиты от повседневного быта рядовых советских граждан стала система закрытого медицинского обслуживания, спецснабжения и спецпередвижения. Однако представителям элиты, несмотря на большие бытовые преимущества, приходилось жить по законам закрытого, тоталитарного и жестокого общества, неисполнение которых грозило не только лишением привилегий и материальных благ, но и перевод в категорию изгоев и партийно-социальных отщепенцев. Поэтому в первые годы Советской власти подобный страх еще уравнивал номенклатуру и обычных граждан [12, с. 453—454].

Не осталась без внимания исследователей также трудовая (служебная) повседневность номенклатуры. Взгляд «изнутри» на отношения в коллективе и механизмы карьерного роста, стремление понять причины добросовестного отношения к делу или, наоборот, использования служебного положения в корыстных целях характерны для исследований Е. Г. Гимпельсона, И. И. Долуцкого и Т. Е. Ворожейкиной, А. Н. Чистикова [80—82]. Не обошли вниманием исследователи и частную жизнь первых советских руководителей. Многие пытаются найти «человеческое», а потому — понятное, в характере и поступках людей власти. Такие исследования сопряжены с определенным риском, ибо авторам не всегда удается остаться беспристрастными. Однако появились работы, в которых на основе ранее засекреченных архивных материалов изучены закрытые стороны жизни советских «небожителей» [83; 84].

Советская власть создала новую шкалу общественного почтения и уважения, которые стали зависеть не столько от гражданского или интеллектуального потенциала личности, сколько от наличия руководящей должности, степени и стажа участия человека в революционном движении. Овеянные легендами вожди становились образцами для подражания масс. М. П. Мирошников и Б. Ю. Шелаев, обратив внимание на метаморфозы массового сознания, исследовали революционный «именник» и пришли к выводу, что в таком важном для человека вопросе, как выбор имени для своего ребенка, в полной мере отразились политические коллизии времени. В новом обществе появились новые имена: Бухарина, Диктатура, Кадр, Октябрина и Октябрь, Труд и Трудослава и т. д. Общее число нововведений вряд ли удастся установить точно. Сегодня их известно несколько сотен. Наибольшее распространение советский «новояз» получил в городах в семьях партийных и советских работников, командного состава армии и органов госбезопасности, а также у интеллигенции первого поколения, т. е. тех, кто своим высоким положением был обязан революции [85, с. 36].

Конструирование новой социальной реальности нашло свое отражение в исследованиях о действии власти по внедрению так называемой мобилизационной идеологии, способной контролировать человеческое поведение. А. Н. Медушевский «концентрированным выражением социального конструирования» нового человека считает советские праздники, которые имели «выраженный дидактический характер» [50, с. 6]. Как отметил германский исследователь М. Рольф, «советское праздничное общество представляло собой круг избранных, доступ туда надо было заслужить и еще быть благодарным за принадлежность к нему. <...>» Участие в советских ритуалах являлось привилегией, визитной карточкой принадлежности к широкому кругу советского общества [86, с. 162—169].

Мифотворческую функцию праздников отмечает С. Ю. Малышева: «Одной из характерных черт революционных праздников было произвольное обращение с историческими фактами, «подправление» истории в угоду логике создаваемого мифа». Наиболее впечатляющим был прием создания атмосферы коллективного переживания и эмоциональной заразитель-

ности. «В инсценировках и различных действиях активно участвовали тысячи горожан, многие тысячи пассивных зрителей невольно вовлекались по ходу событий. Постановки дышали реализмом, пугавшим неосведомленного обывателя или случайно забредшего в город крестьянина: на улицах появлялись городские и околоточные, гарцевали казаки, раздавалось «Боже царя храни», толпы сражались с полицией и били фонари». С. Ю. Малышева убеждена, что такие «игры» оставляли неизгладимый след в памяти. Рождались легенды, порой основательно стиравшие собственные воспоминания о реальных событиях [87, с. 706—707].

Стабильной власти требовался спокойный и предсказуемый обыватель. Позже процесс формирования мифа о единстве революции, власти и человеку был официально закреплен «Кратким курсом истории ВКП(б)». Традиционная система ценностей по-революционному быстро изменилась, наполнившись удивительными изобретениями весьма разных по уровню своей образованности и внутренней культуры советских руководителей и идеологов того или иного номенклатурного ранга. И это было, может быть, главным результатом революции.

Первые результаты изучения советской истории в «человеческом измерении» свидетельствуют о формировании перспективного направления в современной российской историографии. При всем разнообразии тематики и методов исследований общим и центральным тезисом приверженцев новой социальной истории является понимание роли и места личности в историческом процессе как одного из основных условий объективного познания прошлого, преодоления мифологизации советской истории. Выход за рамки традиционных историографических схем наподобие спора «тоталитаристов» и «ревизионистов» позволяет представить масштабы социальной реконструкции общества, тотальной перестройки сознания и поведения людей по таким системообразующим параметрам, как пространство и время.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соколов, А. К. Курс советской истории. 1917—1940: учеб. пособие / А. К. Соколов. М. : Высш. шк., 1999. 272 с.
2. Пушкарева, Н. Л. История повседневности: предмет и метод / Н. Л. Пушкарева // Социальная история: ежегодник. 2007. М. : РОССПЭН, 2008. С. 9—54.
3. Журавлев, С. В. «Маленькие люди» и «большая история». Иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920—1930-х гг. / С. В. Журавлев. М. : ВАГРИУС, 2000. 249 с.
4. Лебина, Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920—1930-е гг. / Н. Б. Лебина. СПб. : Нева, 1999.
5. Кром, М. М. Повседневность как предмет исторического исследования / М. М. Кром // История повседневности: сб. науч. работ. СПб. : Изд-во Европейского ун-та, 2003. 205 с.
6. Репина, Л. П. История исторического знания: учеб. пособие / Л. П. Репина, В. В. Зверев, М. Ю. Парамонова. М. : Дрофа, 2004. 288 с.
7. См.: Людтке, А. Что такое история повседневности? Ее перспективы и достижения в Германии / А. Людтке // Социальная история: ежегодник. 1998—1999. М. : Астрель, 1999. С. 77—101.
8. Медик, Х. Микроистория / Х. Медик // Thesis: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Альманах. М. : Астрель, 1994. Т. 2. № 4. С. 193—202.
9. Поляков, Ю. А. Историческая наука: Люди и проблемы: науч. сборник / Ю. А. Поляков. М. : РОССПЭН, 2009. 336 с.
10. Ахиезер, А. С. Россия: критика исторического опыта. Социокультурная динамика России: в 2 т. / А. С. Ахиезер. Новосибирск : Изд-во Новосибирского ГУ, 1998. Т. 2: Теория и методология: словарь. 325 с.
11. Конфликты и компромиссы в условиях мировых цивилизаций: сб. ст. / ред. Н. И. Басовская. М. : РГГУ, 2009. 463 с.
12. Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 1930-е гг.: город / Ш. Фицпатрик. 2-е изд. М. : РОССПЭН, 2008. 336 с.
13. Курьянович, А. В. История повседневности в ФРГ (1970 — первая половина 1990 г.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 007.00.09 / А. В. Курьянович. Минск : Изд. центр БГУ, 2001. 19 с.

14. *Нарский, И. В.* Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917—1922 гг. / И. В. Нарский. М. : РОССПЭН, 2011. 632 с.
15. См. подробнее: Историк в поиске. Микро- и макроподходы в изучении прошлого. Доклады и выступления. М. : РГУ, 1999. 208 с.
16. *Сенявский, А. С.* Повседневность как методологическая проблема микро- и макроисторических исследований (на материалах российской истории XX в.) / А. С. Сенявский // История в XXI в. Историко-антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества. М. : ИРИ РАН, 2001.
17. *Пушкарева, Н. Л.* Предмет и метод изучения истории повседневности / Н. Л. Пушкарева // Этнографическое обозрение. 2004. № 5. С. 9—15.
18. История и философия отечественной науки: учеб. пособие / науч. ред. Р. Г. Пихоя, А. А. Чернобаев. М. : Изд. РАГС, 2009. 344 с.
19. *Федосюк, Ю. А.* «Утро красит нежным цветом...»: Воспоминания о Москве. 1920—1930 гг. / Ю. А. Федосюк. 2-е изд. М. : Флинта : Наука, 2004. 240 с.
20. *Готье, Ю. Е.* Мои заметки / Ю. В. Готье // Вопросы истории. 1991. № 6. С. 155—159; № 11. С. 161; № 12. С. 148—157.
21. *Лившин, А. Я.* Власть и общество. Диалог в письмах / А. Я. Лившин, Н. Б. Орлов. М. : РОССПЭН, 2002.
22. *Левина, В. Г.* Я помню... Записки ленинградки / В. Г. Левина. СПб. : Нестор-История, 2007. 188 с.
23. Семь хлебов для диктатуры пролетариата. Письма о пропитании от народа советским вождям // Русская жизнь. 2008. № 3. С. 14—19.
24. Россия: Автобиография / сост. М. А. Федоров, К. М. Королев. М. : ЭКСМО, 2009. 1232 с.
25. Советская деревня глазами ВЧК — ГПУ — НКВД. 1918—1939. Документы и материалы: в 4 т. М. : Интерросса, 1998. 572 с.
26. *Колодникова, Л. П.* Советское общество 20-х годов XX в. По документам ВЧК — ОГПУ / Л. П. Колодникова. М. : Наука, 2009. 479 с.
27. «Мы бросили работу, придите нам на помощь». Документы Центрального архива ФСБ России о забастовках в 1923 г. / публ. Л. В. Борисовой // Российская история. 2010. № 4. С. 12—15.
28. Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917—1929. Экономические конфликты и политический протест: сб. документов / отв. ред. В. Ю. Черняев. СПб. : Изд. СПб ГУ, 2000.
29. Цензура в Советском Союзе. 1917—1991: Документы. М. : РОССПЭН, 2004.
30. Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918—1922: сб. документов / отв. ред. Л. Б. Милокова. М. : РОССПЭН, 2007. 995 с.
31. Россия. XX в. 1917 / сост. В. Гликберг, А. Мешеряков. М. : Интерросса, 2007. 351 с.
32. Население России в XX в. Исторические очерки: в 3 т. 1900—1939. М. : РОССПЭН. Т. 1. 2000.
33. *Жиромская, В. Б.* Советский город в 1921—1925 гг.: Проблемы социальной структуры / В. Б. Жиромская. М. : ЭКСМО, 1988.
34. *Смирнова, Т. М.* «Бывшие люди» Советской России: стратегии выживания и пути интеграции. 1917—1936 / Т. М. Смирнова. М. : ВАГРИУС, 2003.
35. *Федоров, А. Н.* Социальное измерение пореволюционного города: проблемное поле исследования / А. Н. Федоров // Проблемы отечественной истории: источники, историография, исследования: сб. науч. ст. / редкол. М. Н. Барышников [и др.]. СПб. : Изд-во Нестор-История, 2008. 682 с.
36. *Миронов, Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — нач. XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. / Б. Н. Миронов. СПб. : Дм. Буланин, 1999. 1135 с.
37. *Бердяев, Н. А.* Новое Средневековье: Размышления о судьбе России и Европы / Н. А. Бердяев. М. : Феникс: ХДС-прес, 1991. 81 с.
38. Революция и человек: быт, нравы, поведение, мораль: сб. ст. / отв. ред. П. В. Волобуев. М. : ИРИ РАН, 1997. 223 с.
39. *Лебон, Г.* Психология масс / Г. Лебон. СПб. : Макет, 1995.
40. См. подробнее: *Грушин, Б. А.* Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования / Б. А. Грушин. М. : Политиздат, 1985. 368 с.
41. *Булдаков, В. П.* К изучению психологии и психопатологии революционной эпохи / В. П. Булдаков // Революция и человек: Социально-психологический аспект. М. : 1996.

42. Федюк, В. П. «Товарищи» и «буржуи», или Лексикон революции / В. П. Федюк, О. В. Ольнева // Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города. Ярославль : Рейдер, 2002. 368 с.
43. Архипов, И. Л. Общественная психология петроградских обывателей в 1917 г. / И. Л. Архипов // Вопросы истории. 1994. № 7. С. 49—58.
44. Аксютин, Ю. В. Оттепель 1953—1964 гг. и общественные настроения: автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02 / Ю. В. Аксютин. М. : Изд. МПУ «Народный учитель», 2000. 71 с.
45. Сенявский, А. С. Великая русская революция 1917 г. в контексте истории XX в. / А. С. Сенявский // Проблемы отечественной истории. 682 с.
46. Цит. по: Люкс, Л. История России и Советского Союза: От Ленина до Ельцина / Л. Люкс. М. : РОССПЭН, 2009. 572 с.
47. Булдаков, В. П. Красная смута: природа и последствия революционного насилия / В. П. Булдаков. 2-е изд., доп. М. : РОССПЭН, 2010. 967 с.
48. Филипова, Т. Логика иррациональности, или Стоит ли бегать от самих себя? / Т. Филипова // Родина. 2010. № 10. С. 88—89.
49. Цит. по: Карелин, А. С. Культурология / А. С. Карелин. СПб. : Лань, 2009. 928 с.
50. Медушевский, А. Н. Сталинизм как модель социального конструирования / А. Н. Медушевский // Российская история. 2010. № 6. С. 3—27.
51. Россия. XX в. 1917 / сост.: В. Гликберг; А. Мещеряков. М. : Интерросса, 2007. 351 с.
52. Лебина, Н. Б. Теневые стороны жизни советского города 1920—1930 гг. / Н. Б. Лебина // Вопросы истории. 1994. № 2.
53. Канищев, В. В. Русский бунт — бессмысленный, беспощадный. Погромное движение в городах России в 1917—1918 гг. / В. В. Канищев. Тамбов : Изд. Тамбовского ГУ, 1995. 238 с.
54. См.: Бордюгов, Г. А. Социальный паразитизм или социальные аномалии? Из истории борьбы с алкоголизмом, нищенством, проституцией, бродяжничеством в 20—30-е годы / Г. А. Бордюгов // История СССР. 1989. № 1. С. 60—73.
55. Быкова, Т. С. Борьба с пьянством. Опыт применения антиалкогольной политики в истории России / Т. С. Быкова // Исторический опыт отечественной внутренней политики. СПб. : Нестор, 2008. 115 с.
56. Чистиков, А. Н. Тройка, семерка, туз... / А. Н. Чистиков // Родина. 1994. № 10. С. 44—48.
57. Ходяков, М. В. Сомнительные деньги. Фальшивомонетки в годы революции и гражданской войны / М. В. Ходяков // Родина. 2002. № 7. С. 72—75.
58. Ульянова, С. «Несуны» в законе. Кражи на предприятиях в 1920-е гг. / С. Ульянова // Родина. 2001. № 10. С. 74—76.
59. Давыдов, А. Ю. Мешочники и диктатура в России. 1917—1921 / А. Ю. Давыдов. СПб. : Алетейя, 2007. 396 с.
60. Волженкин, Б. В. Служебные преступления / Б. В. Волженкин. М. : Яуза, 2000. 235 с.
61. Колпакиди, А. КГБ: Энциклопедия спецслужб / А. Колпакиди. М. : Яуза, 2010. 784 с.
62. Маркосян, Г. М. Взятничество в России в начале 1920-х гг. / Г. М. Маркосян // Вопросы истории. 2009. № 10. С. 209—212.
63. Донос как специфическую форму проявления гражданских чувств анализирует О. В. Морозова в статье «Другие черешур даже много широко живут» // Российские и славянские исследования: науч. сб. Минск : БГУ. 2010. Вып. 4. С. 136—144.
64. Борьба со взяточничеством в начале 1920-х гг. Документы ГАРФ / сост. Г. М. Маркосян // Исторический архив. 2009. № 5. С. 208—209.
65. Чикалова, И. Р. Гендерная система (пост)советской Беларуси: воспроизводство и трансформация социальных ролей в публичной и приватной сфере / И. Р. Чикалова // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 4. С. 51—67.
66. Пушкарева, Н. Л. Российская система законов о браке в XX в. и традиционные установки / Н. Л. Пушкарева, О. Е. Казьмина // Этнографическое обозрение. 2003. № 4. С. 70—73.
67. Араловец, Н. А. Семейные отношения горожан России в 1920-е гг. / Н. А. Араловец // История в XXI веке. Историко-антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества. М. : ИРИФАН, 2001. С. 38—46.
68. Лебина, Н. Б. Деталь ночного пейзажа. Кое-что из мира проституток Петербурга и Ленинграда / Н. Б. Лебина, М. И. Шкаровский // Родина. 1994. № 1. С. 61—66.

69. *Третьяков, С. М.* Хочу ребенка / С. М. Третьяков // Современная драматургия. 1988. № 2. С. 221—227.
70. *Котылев, А. Ю.* «Мальчишка, люби Революцию...» Гендерный аспект развития российской культуры в 1917—1933 гг. / А. Ю. Котылев // Гендер и общество в истории. СПб. : Нестор-История, 2007. С. 58—78.
71. *Руденко, Б.* Без призора / Б. Руденко // Дружба народов. 2008. № 3. С. 135—139.
72. *Рожков, А.* Беспризорники / А. Рожков // Родина. 1997. № 9. С. 70—76.
73. *Панин, С.* Хозяин улиц городских. Штрихи к портрету хулигана 1920-х гг. / С. Панин // Родина. 2002. № 2. С. 92—94.
74. Дети эмиграции: воспоминания / сост. В. В. Зеньковский. М. : РГГУ, 2001. 623 с.
75. *Костиков, В. В.* Изгнание из рая / В. В. Костиков // Огонек. 1990. № 24. С. 13—16.
76. *Восленский, М. С.* Номенклатура: Анатомия советского правящего класса / М. С. Восленский. М. : Захаров, 2005. 640 с.
77. *Пашин, В. П.* Партийно-хозяйственная номенклатура в СССР: становление, развитие, упрощение в 1920—1930 гг. / В. П. Пашин. Смоленск : Русич, 2001.
78. *Коржихина, Т. П.* Советская номенклатура: становление, механизмы действия / Т. П. Коржихина, Ю. Ю. Фигатнер // Вопросы истории. 1993. № 7.
79. *Богословская, М. В.* Повседневная жизнь советской элиты в 1910—1930 гг. / М. В. Богословская // Конфликты и компромиссы в истории мировых цивилизаций: сб. ст. / ред. Н. И. Басовская. М. : РГГУ, 2009. 463 с.
80. *Долуцкий, И. И.* Политические системы в России и СССР в XX в. / И. И. Долуцкий, Т. Е. Ворожейкина. М. : КДУ, 2008. 440 с.
81. *Чистиков, А. Н.* «Надо арестовывать осторожно»: судебная ответственность советской бюрократии 1917—1920 гг. / А. Н. Чистиков // Россия в XX в. Проблема политической, экономической и социальной истории: сб. ст. СПб. : Изд. СПб ГУ, 2008. 496 с.
82. *Кондратьева, Т. С.* Кормить и править. О власти в России в XVI—XX вв. / Т. С. Кондратьева. М. : РОССПЭН, 2009. 207 с.
83. *Каррер д'Анкос, Э.* Ленин / Э. Каррер д'Анкос. М. : РОССПЭН, 2008. 384 с.
84. *Кучкина, О. А.* Сталин. Частная жизнь «чудесного грузина» / О. А. Кучкина // М. : Астрель : Олимп, 2009. 221 с.
85. *Мирошников, М. П.* Октябрение / М. П. Мирошников, Ю. Б. Шелаев // Родина. 1991. № 9—10. С. 36—38.
86. *Рольф, М.* Советские массовые праздники / М. Рольф. М. : РОССПЭН, 2009. 439 с.
87. *Малышева, С. Ю.* Мифологизация прошлого: советские революционные празднества 1917—1920 гг. / С. Ю. Малышева // Диалоги со временем. М. : Круг, 2008. 800 с.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена основным направлениям изучения повседневной жизни в Советской России с 1917 г. по начало двадцатых годов. В современной историографии повседневности основное внимание уделяется методологии и методике, структуре, терминологии и специфике работы с историческими источниками. Воздействие революционных событий в 1917 г. на массовое сознание и поведение населения, изменение социальной структуры общества, появление новых традиций является основным предметом исследования. Приоритеты исторического исследования: стратегия выживания в экстремальных условиях, нормы и аномалии в повседневной жизни, условия жизни различных социальных групп, трудовых и семейных отношений.

SUMMARY

The article is devoted to the major ways of studying everyday life in Soviet Russia from 1917 to early twentieth. The modern historiography focuses on methodology and methods, structure, terminology, sources. The impact of two Russian revolutions in 1917 on mass consciousness and behavior, changes in the social structure, the emergence of new traditions is the main subject of study. The priorities of the historical research are: strategy for survival in extreme conditions, norms and anomalies in daily living, living conditions of different social groups, labor routine, family relationships, privacy, etc.

Статья поступила в редакцию 7 февраля 2011 г.